

НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО

NOVOYE RUSSKOYE SLOVO 413 E. 14th St., New York, N. Y.

VOL. XXIX. No. 9645. MONDAY, JULY 3, 1939

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ИЮЛЯ, 1939 ГОДА

ЕЛИХОВЫ И ДРУГИЕ . . .

Печатаемая ниже статья принадлежит перу известного критика А. Г. Горюхова, быв. члена редакционной коллегии «Русского Богатства», журнала Н. К. Михайловского и В. Г. Короленко. Статья о Елихове (из «Литературн. Газет») представляет собою отрывок из не вышедшей еще новой работы А. Г. Горюхова о фамилиях в произведениях Чехова.

И ВОТ, среди них (действующих лиц «Вишневого сада») Елихов, Семен Пантелеевич по имени, конторщик по профессии, «двадцать два несчастья» по прозвищу. «Не могу одобрить нашего климата», — говорит он и вздыхает. — Не могу. Наш климат не может способствовать в самый раз. Вот, Ермаков Алексей, позвольте вам присовокупить, купил я себе третьего дня сапоги, а они, смею вас уверить, так скрипят, что нет никакой возможности».

Этих немногих слов достаточно, чтобы ввести вас в атмосферу скудоумия, беспомощности, претенциозного косноязычия, определяющую Елихова. Никому нет дела до его скрипучих сапог, но он их «присовокупляет» к климату, который тоже обходится без его «одобрения». При этом, смешной и жалкий для всех, он полон ощущения своего достоинства, равенства всем и некоторой роковой избранности. Приниженный и в то же время бессмысленно гордый сознанием своей предустановленной неудачливости, он неизменно с самого начала до конца также косолопо натывается на стулья, роняет букеты, давит корзинки с шляпами, ломает кии, как и беспомощно барахтается в плохих усвоенных трафаретах того, что ему кажется языком образованности.

«Собственно говоря, не касаясь других предметов, я должен выразиться о себе, между прочим, что судьба относится ко мне без сожаления, как буря к небольшому кораблю. Если, допустим, я ошибаюсь, тогда зачем же сегодня утром я просыпаюсь, к примеру сказать, гляжу, а у меня на груди страшной величины паук... Вот такой... И тоже квасу возьмешь, чтобы напиться, а там, глядишь, что-нибудь в высшей степени неприличное, в роде таракана (пауза). Вы читали Бокля?».

Этого ударения на я—Бокля—нет в печатном тексте Чехова, но оно есть в исполнении Художественного театра, — и кто бы ни был создателем этой мелочи—актер, режиссер или писатель—она достойна автора «Вишневого сада», в ней превосходно выразился живой Елихов. Он весь в этом монологе. Его прозвище, ставшее крылатым словом, примечательно, как весь его облик. Осмысленной бессмыслицы полна и эта кличка. Елихов неудачлив, неловок, ограничен, не знает своего места, его преследуют — мнимые или настоящие — несчастья: но почему двадцать два? Откуда эта убийственная, нелепая и злая математическая точность? Она характеризует его, она смешна и бессмысленна, как весь ее носитель в своих повадках и терзаниях. Но разве она только смешна? Сам Елихов разве только смешон?

«Вы... не желаете меня видеть», — говорит он, тяжело вздыхая, Дуняша, — как будто я какое насекомое... Несомненно, может, вы и правы. Но, конечно, если взглянуть с точки зрения, то вы, позволяя себе так выразиться, извините за откровенность, совершенно привели меня в состояние духа». Это нескладно и беспомощно, но ведь оно выражает искреннее чувство. Елихов хочет только сказать, что любит Дуняшу. Он полон неподдельного и, быть может, глубокого чувства, но вызывает только смех. Он хотел бы найти достойную форму для своих излияний и умеет только загромождать их без нужды у кого-то заимствованными и неуместными «собственно говоря», «позвольте вам присовокупить» и т. д.

«Я развитый человек, читаю разные замечательные книги, но никак не могу понять направления, чего мне собственно хочется, жить мне, али застрелиться... но тем не менее я всегда ношу при себе револьвер» (показывает револьвер). Это потешает окружающих. «Ты, Елихов, очень умный человек и очень страшный», — трунит над ним Шарлотта. Но Дуняша, в которую он безнадежно влюблен, знает его лучше. «Не дай Бог, застрелится», — беспокоится она, и тем выражает общее чувство: нелепым самоубийством и даже нелепым убийством может случайно и последовательно закончиться нелепая болтовня этого горделивого и забитого неудачника. Точно рыжий в цирке, он неловко толчется среди действующих лиц, вызывая во всех пренебрежительную усмешку несообразности всякого своего движения, внутреннего и внешнего. Без толку мечется он не только в комнатах помещичьего дома, но и ме-

жду классами. Он конторщик, к нему относятся благодушно, но его третируют, как лакея, ему говорят ты; раздраженная, но ведь не злая Варя попросту выгоняет его с чернилки. «С меня взыскивать, позвольте вам выразиться, вы не можете», — обиженно говорит он: — Работают ли я, хожу ли, кушаю ли, играю ли на билльяре, про то могут рассуждать только люди понимающие и старшие». И услышав в ответ: «Убирайтесь же вы отсюда! Сию минуту!» — он тотчас же струслил: «Просу вас выражаться деликатным способом».

Его поверхностное, ходульное, пусто-поверхностное высокомерие, — только попытка самозащиты, и такая же жалкая, как вещь он. Социальный межеумок, культурный недоносек, еле коснувшийся обрывков какого-то знания, он так же мало способен занять свое место и отстоять себя, как и справиться с меняющимися формами образованности или с требованиями простого здравого смысла и окружающего быта. Выбитый из колеи, он неожидан в действиях, как неожидан в словах.

Проявления скудоумия так же непредвидимы, как проявления ума. В этом смысле в глупости есть своя выдумка, свое извращенное, пародированное творчество. Можно предвидеть, как поступит или что ответит Трофимов или Лоухин, но невозможно в путях здравого человеческого рассудка предсказать, что сделает или скажет Елихов. Он нелеп, то-есть нелогичен — и вот это расхождение с ожидаемым, с предвиденным, с логичным замечательно выражено в его фамилии.

Чтобы понять это, надо разложить ее и осмыслить. Она состоит из двух частей, по происхождению вполне разнородных и ничем логическим не связанных. В русском языке слова, начинающиеся слогом **епи**, — это слова греческого происхождения и церковного обихода: епископ, епитрахиль, епитимья, епархия. В более старом языке употреблялись и иные аналогичные образования: говорили епитет, епидемия и т. п. Но это ново-греческое чтение давно вышло у нас из научно-литературного обихода, и лишь, как смешные архаизмы воспринимается мы (принятые еще в словаре Даля) епитафия и эпизод, епилепсия и эпилог. Однако, в составе этих слов есть логика. Не то здесь. Слово Елихов начинается с «Ели». В ощущении, привыкшем к епископу и епархии возбуждается ожидание чего-то истового, церковного, древнезлинского, во всяком случае, не русского. И вдруг после «Ели» мы слышим: «ходов». Почему «ходов»? как здесь может быть «ходов»? Иностранное должно бы заканчиваться иностранным, архаическое начало предполагало бы и архаический конец. Во всяком случае, требовалось бы какое-либо смысловое оправдание. В русском языке есть — хотя очень редко — слова такого двуязычного происхождения, каковы, например, новое техническое «теплофикация» или старое семинарско-юмористическое «протоканалья»; но там и здесь ясен смысл, — и во всяком случае это не те слова, которые в свое время могли стать прозвищем и основой для фамилии.

Имя собственное вытекает из нарицательного — оно должно быть хоть в своем истоке понятно. Понятна, естественна, разумна фамилия Тихоходов, Скороходов, Пароходов, если угодно — Кривоходов, Переходов; это может что-нибудь значить. Но какая логика, какой смысл в слове Елихов? Елихов — это не только ничего не значит: это бессмысленно по своей структуре, это нелепо, как нелеп человек, носящий это имя. Это его характеристика в его имени.

И символичность этого имени, конечно, глуже и реалистичней подтвержденности таких фамилий, как Стародум и Скалозуб, Собакевич и Рыбухаев, так как здесь выразительность достигнута более тонким путем.

А. Горюхов